

Кузнецкие дни Федора Достоевского

Леонид СЕРБИН

Отбыв каторгу за участие в собраниях социалистического кружка Петрашевского, пережив восемьмесячное заключение в мрачных застенках Алексеевского равелина, испытав огромное первое потрясение во время инсценировки смертной казни на Семипалатинском плацу в декабре 1849 года, Федор Михайлович Достоевский вышел из Омского острога с одной единственной мыслью: продолжить свои литературные занятия и посвятить этому всю оставшуюся жизнь. Но до настоящей свободы и большой литературы было еще далеко.

В письме к Наталье Дмитриевне Фонвизиной он сообщает: «Я еду в глушь, в Азию и уж там-то, в Семипалатинске, кажется, совершенно меня оставит все прошлое, все впечатления и воспоминания мои, потому что последние люди, которых я любил и которых были передо мной, как тень моего прошедшего, должны будут расстаться со мной».

И далее: «Я в каком-то ощущении чего-то, я как будто все еще болен теперь и, кажется мне, что со мной в скором, в очень скром времени должно случиться что-нибудь очень решительное, что я приближаюсь к кризису всей моей жизни, что как будто созрел для чего-то и что будет что-нибудь тихое и ясное, может быть, грозное, но во всяком случае неизбежное...»

Так оно и случилось, предчувствие не обмануло писателя. Но случилось не «тихое и ясное», а грозное и неизбежное.

Путь от Омска до Семипалатинска, где квартировал 7-й Сибирский линейный батальон, куда Достоевского определили рядовым, Федор Михайлович должен был проделать пешком. Потолкавшись на почтовой станции и не найдя попутной оказии, по легкому утреннему морозцу он отправился в путь. В дороге, уже верстах в семи от Омска, его нагнал санный обоз. И Достоевский, сидя в санях, вновь, как и в минуту освобождения, почувствовал себя самым счастливым человеком на земле. Пройдут годы, но в памяти писателя эти несколько дней пути до Семипалатинска останутся навсегда. И часто, вспоминая их, Федор Михайлович будет рассказывать о степных вольных просторах, о голубом весеннем небе, об Иртыше и о своих попутчиках, безвестных российских мужиках, о том, как, промстившись на жестких канатах, ехал он «с высоким небом над собою, чистым воздухом кругом и чувством свободы в душе».

Вот как выглядел Федор Михайлович в первые дни и недели своей службы в Семипалатинске.

Об этом в воспоминаниях А. Е. Врангеля есть такие строки: «Он был в солдатской серой шинели с красным стоячим воротником и красными погонами. Угрюм, с болезненным лицом, покрытым веснушками, светлые русые волосы были коротко острижены, ростом он был выше среднего. Пристально оглядывал меня своими умными серо-синими глазами, казалось, он старался заглянуть

мене в душу,— что, мол, я за человек».

По прибытии в Семипалатинск, Достоевский часто бывает в доме своего командира полковника Белихова. Сначала полковник не выделял его из серой массы солдат, но однажды остановил и сурово сказал: «У меня до вас дело есть. Прошу в седьмом часу быть у меня дома».

Вечером, когда Достоевский пришел к Белихову, его встретили как дорогого гостя. Сам хозяин принял у него шинель и пригласил в дом.

— Я для тебя командир батальона до 6 часов. А после 6 — радушный хозяин, а ты мой гость, — сказал Белихов и провел его в большую, светлую горницу. Навстречу им приветливо поднялась женщина лет сорока, с добрым круглым лицом.

— Милости просим, — повторила она слова мужа, — прошу вас, садитесь и чувствуйте себя как дома.

Достоевский, робея и смущаясь, сел за стол, огляделся, затем выпил напитку полковником рюмку водки, стал закусывать и с этой минуты действительно почувствовал себя «как дома». Затем, поглядев на хозяйку, он сказал:

— Знаете, я давно уже так вкусно не ел.

Комплимент попал в цель. Анна Кузминична засуетилась от похвалы. А Федор Михайлович, уже окончательно освоившись, наклонился и галантно поцеловал ей ручку.

— Ну ты, я вижу, солдат не промах, — заметил Белихов, к этому моменту уже изрядно выпивший.

Не уловив, похвалил это или порицание, Федор Михайлович несколько растерялся.

— Ничего, ничего, — отечески проговорил Белихов, заметив его растерянность.

— Мы люди простые, я вышел сам из солдат, слыхал небось? До сих пор грамоту плохо знаю — на медные деньги учен. Конечно, кое-что умею, однако читаю по складам. Скажи, тебе по душе, чтобы мне все читать, что по званию требуется, так надо ночи напролет потолок коптить. Теперь ты небось понял, к чему я клоню?

Достоевский не понял, а только смутно догадывался, что Белихов хочет как-то использовать его грамотность. Может быть, он попросит читать ему вслух, а может быть, предложит читать все то, что ему, командиру батальона, требуется по званию не вслух, а про себя, а затем делать выписки. Тем не менее, на вопрос Белихова, «к чему он клонит», он утвердительно ответил «да».

— Слыхал я, что ты по письменному делу дока, да и нравишься ты мне, — полковник пристально смотрел ему в глаза, — согласен, что ли?

— Так точно.

— Ну, это ты брось, я не по службе. Может, тебе не с руки или другие дела есть, так считай, что нашего разговора не было.

— Примите! А может, не время? Может, прикажете от ворот поворот — так мы не в обиде...

— Заходите, заходите, — приветливо отвечала хозяйка. — Как же это так, от ворот поворот? У нас так не водится! И вы, голубушка? Вот радость-то! — в голосе Анны Кузминичны прозвучали теплые, ласковые ноты, — входите, входите.

— Вы уж извините нас, Анна Кузминична, — послышался грустной женский голос, — что с ним делать, не знаю. Шли от Пощеконовых, как поравнялись с вашим домом, сразу остановился и «зайдем» да «зайдем». Хоть и совестно в такое позднее время, да делать нечего.

Чувствовалось, что женщина действительно смущена и зашла только ради того, чтобы извиниться за мужа, с пьяной бесстыдностью настаивавшего на столь позднем визите.

«Человек-то он, может быть, и добрый, душевный, но из тех, что пьянеют от одной рюмки, и потом скучно и нудно философствуют, ударяя себя в грудь и клянясь в том, в чем у них никто клятв не спрашивает», — подумал Достоевский, — жить с таким человеком — чистое мучение, и нет более несчастных людей на свете, чем их матери, сестры, жены; в особенности жены...»

Да, он подумал об этом еще прежде, чем увидел ее. Увидев же, страшно обрадовался удивительному соответствию своих мыслей с обликом женщины, вошедшей в комнату.

Вот словесный портрет Исаевой, который оставил нам в своих воспоминаниях приятель Достоевского по Семипалатинску, окружной прокурор барон А. Е. Врангель:

«Мария Дмитриевна было около тридцати, довольно красивая блондинка среднего роста, очень худощавая, натура страстная и экзальтированная. Уже тогда зловещий румянец играл на ее лице, а несколько лет спустя чакотка унесла ее в могилу. Она была начитанна, довольно образованна, любознательна, добра и необыкновенно жива и апешатительна. В Федоре Михайловиче она приняла горячее участие, приласкала его».

Добавим к этому, что у Исаевой были умные светлые глаза, высокий лоб и красивые чувственные губы. Но поразили Достоевского не волосы и не глаза, а трогательная беспомощность и затаенная горечь, которую выражала каждая, даже самая малая черточка ее лица, каждое дыхание, быстрый и робкий взгляд вокруг. По деду Исаева была француженкой и фамилия ее девичья Констан.

— Знакомьтесь — наш местный чиновник Александр Иванович Исаев и его жена Мария Дмитриевна, — сказал хозяин дома, усаживая гостей.

— А это — рядовой моего баталь-

она, из бывших политических, Федор Михайлович Достоевский, — и, заметив недоуменный взгляд Исаева, добавил, — помогает мне по письменной части.

Исаев пожал руку Достоевского и, отвернувшись, оживленно заговорил с Белиховым.

«Когда я познакомился с ним, он уже несколько месяцев как был в отставке и все хлопотал о каком-нибудь другом месте. Жил он с жалованьем, состояния не имел и поэтому, лишаясь места, мало-помалу они впали в ужасную бедность... Он наделал долгов, жил очень беспорядочно, да и натура-то его была беспорядочная. Страстная, упрямая, несколько загрубела. Он был беспечен, как цыган, самолюбив, горд, но не умел владеть собой».

А Мария Дмитриевна, между тем, села напротив Достоевского и первая начала разговор.

— О вас говорят, слухи дошли и до меня. Не скрою, я рада, что случай свел нас...

И действительно, с этой незабываемой минуты он думал только о ней. Все отступило на задний план: и чтение, так захватывающее его, и воспоминания и даже мечты о литературной деятельности. Чувство всецело захватило его. А дни, когда он не мог пойти к Белиховым, а значит, не имел никакой возможности увидеть ее, казались ему потерянными.

Здесь, в засыпанном злыми песками полудиком азиатском углу России, ему открылся свет, о котором за годы каторги и солдатчины он уже забывал и который отдаленно напоминал волшебный свет белых ночей на невских берегах и его первые повести.

Через много лет, когда Мария Исаевской уже не будет в живых и когда впечатления первых произведений и юности, последующих встреч переплетутся в сознании, появятся вот эти строчки: «Какая-то странная мысль вдруг зашевелилась во мне. Я вздрогнула и сердце мое как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива могущественного, доселе незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту минуту до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не осмыслившее: как будто прозрел во что-то новое, совершенно в новый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то теплым слухам, по каким-то таинственным знакам».

Я полагаю, что с той именно минуты началось мое существование. «Началось мое существование». Он прозрел уже в который раз за последние годы. И, пожалуй, самым большим прозрением было для него чувство к Марии Дмитриевне.

[Продолжение в следующую субботу].

